

Человеческий суд-пересуд не приближает к истине, а удаляет от нее. Как правило. Но есть сердца горестные заметы, которые могут служить свидетельствами и на Божьем суде.

Из таких свидетельств составилась книга «Воспоминания о Борисе Пастернаке» (издательство «Слово»). В эти дни перечитываю ее с особым чувством.

Конечно, тут свидетельства будут об этом человеке. Но и об эталоне человека тоже. Звучит странно. Особенно если хорошенько представить себе его. Ни на кого не похожего, отдельного, со своими слабостями. Но ведь эталон — всякий, кого мы любим особенно. Это не значит, что по нему надо равнять остальных. Это только значит, что каждого особенно любимого надо ценить его ценою и понимать, как она высока. Каждый любимый эталонен — вот что это значит.

Можно ли вообразить, что совсем недавно, всего жизнь назад, кто-то мог услышать его густой органной, виолончельный голос, читающий только что сочиненное:

Гул затих. Я вышел на подмости...

На кого-то могли глянуть светло-каштановые глаза с собачьим выражением преданности, как они глянули на Анастасию Цветаеву, сестру Марины, за Марину. А перед тем, как ему уйти совсем, эти же глаза сделались подернуты лиловой пленкой, какой покрываются глаза очень старых людей и старых собак.

Он любил весь мир вокруг, от человека до травинки, и сам был мир. Он собирался жить в музыке. Близким соседом и другом их семьи был Скрябин. И семья знала, что Борис будет жить в музыке. Он обманул близких, уйдя в поэты, и тогда ему пришлось уйти из дома. Остались музыкальные импровизации на роде, трагические и темпераментные.

Фонтанный, водопадный, космический — определения вспоминающих. Напряженный, радостный, источающий свет. Пошлые разговоры были исклечены при нем. Он сразу начинал говорить о важном, о том, чем жил его дух. Поспеть за молниевыми зигзагами спонтанной внутренней жизни было непросто, речь его могла казаться туманной, загадочной. Так же, как вперые прочитанные стихи. Но поворачивался какой-то включатель, что-то происходило в сознании, возможно, настройка на волну — и то, что казалось слушателю сложным, делалось прозрачным. Ощущение его торопящейся речи с волнами слов и образов, следующих кренделю, как продолжение стихов, поразило Ольгу Карлайл, американку, внучку Леонида Андреева, а уж он был стар. Световой ливень — определение ранней лирики, найденное Мариной Цветаевой. Она же сказала о его конском глазе и профиле. Между прочим, в психологических тестах Фрейда конь — тайный символ мужчины и мужской любви.

О его необыкновенном лице замечено: много лиц, подвижных, изменчивых, с чертами прекрасно неправильными и неправильно прекрасными. «Внешне он мне понравился: у него светились глаза и он весь горел вдохновением. Я была покорена им как человеком, но как поэт он был мне мало доступен», — записала честно, как было, Зинаида Николаевна, жена пианиста Нейгауза, оставившая его ради Пастернака. А он оставил ради нее свою жену Евгению Владимировну, художницу. Евгения Владимировна не простила Бориса Леонидовичу ни одной ошибки, ни

слова, ни жеста, которые считала недостойными его. Видимо, в какой-то момент ее требовательность превысила допустимую норму. Еще она говорила о безвольности Пастернака. Люди, видевшие зорче, а может быть, не ревновавшие его так, как она, находили, что его одержимость — лучший водитель, чем так называемая воля.

Пастернак был покорен дивной красотой Зинаиды Николаевны. Как через много лет — красотой Ольги Всеволодовны. Две женщины претендовали на прообраз Лары в «Докторе Живаго». Спор ос-

нок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет».

«Всю ночь я не смыкала глаз, он же спал младенческим сном, и лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи», — призналась эта женщина.

Покончил с собой Паоло Яшвили и арестовали Галактиона Табидзе, любимых его грузинских друзей, многие испугались, а он стал регу-

разность. Кабинет: книжный шкаф, оставшийся еще от родителей, с энциклопедией Брокгауза и Эфрона, старая металлическая кровать, на которой он спал, письменный стол с лампой и чернильным прибором, а еще шпалка, на которой шляпа и костюм для огорода.

Тончайший лирик, поэт, разговаривавший с ангелами, он рассказывал: «Приходит ко мне один знакомый кровельщик, вытаскивает из кармана четвертинку, кружок колбасы и говорит: «Я тебе крышу крыл и не знал, кто ты. Так вот добрые люди мне сказали, что ты за правду. Давай выпьем по этому случаю!» Выпили. Потом кровельщик мне и говорит: «Веди!» Я его сначала не понял: «Куда это тебя вести?» — «За правду, — говорит, — веди». А я ведь никого никуда вести не собирался. Поэт — это ведь просто дерево, которое шумит и шумит, но никого никуда вести не предполагает».

Гул затих. Я вышел на подмости...

«Мне стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готовится гражданская казнь, что его будут топтать ногами, пока не убьют, как убили Зоценку, Мандельштама, Заболоцкого...» — из дневника Корнея Чуковского. Лидия Чуковская, идя к Пастернаку, видела в машине четверых одинаково одетых мужчин, погруженных в чтение одинаково раскрытых газет.

«Я всегда был хорошим товарищем, читал все, что мне дарят. Но сейчас из-за «Живаго» у меня роман с танком. Он идет на меня, а я ему улыбаюсь, кокетничаю с ним: вдруг все обойдется?.. И сейчас меня мало волнуют микрометрические различия между вами всеми. Простите. Боже, что я несу!» Этот жуткий текст, по которому видна степень отчаяния Пастернака, записал Валентин Берестов.

Он почти спокойно принял изгнание из Союза писателей. Но мысль о возможном изгнании из Союза была переносима. Письмо Хрущеву: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносителен смерти, и поэтому я прошу не применять по отношению ко мне этой крайней меры».

Кажется, выше сил услышать то, что услышала Зинаида Николаевна от врача 30 мая 1960 года: «Мне здесь делать нечего, через десять минут он умрет... Я не в силах спасти Б. Л., это было кровотечение из легких...»

Последние его слова, обращенные к жене, были: «Я очень любил жизнь и тебя, но расстаюсь без всякой жалости: кругом слишком много пошлости не только у нас, но во всем мире. С этим я все равно не примирюсь».

А когда-то после инфаркта он написал письмо Анастасии Цветаевой, что вот был при смерти и как это прекрасно, в промежутке меж болей и даже через боль, сознавать, что ты жил, долго жил и теперь умираешь, и благодарил Творца за жизнь, и какой это восторг — итог жизни с верой в осмысленность жизни.

Из дневника Корнея Чуковского: «Пришла Лида и сказала страшное: «Умер Пастернак... Хоронят его в четверг 2-го. Стоит прелестная невероятная погода — жаркая, ровная, — яблони и вишни в цвету. Кажется, никогда еще не было столько бабочек, птиц, пчел, цветов, песен».

Гул затих. Я вышел на подмости...

«Не жертвуйте лицом ради положения», — сказал он еще на Первом съезде писателей. Так и прожил.

Ольга КУЧКИНА.

Снимок, подаренный автору семьей Б. Л. Пастернака.

Роман с танком



В эти дни, 34 года назад, прощались с великим русским поэтом Борисом Пастернаком. Он между нами жил... Остались не только незабываемые стихи. Остался урок чистой жизни.

тался неразрешен. Но он сказал: «Я только на этот раз не повторю ошибки. Я ничего ломать не буду». Стихи, посвященные жене, сменялись стихами, посвященными Ивинской, а между тем Лидия Чуковская оставила в дневнике: «Ольга Всеволодовна — раскрашенная, ушесливая, привеливая, фальшивая». То, что видит влюбленный поэт и что трезвый друг, — не всегда совпадает.

Первая проза Пастернака называлась «Реликвии». Это имя героя. Это же — латинский глагол во втором лице множественного числа настоящего времени. В переводе: быть в долгу. Возможно, так подспудно сказалось фундаментальное чувство. В одном доме запомнили последнюю сказанную им фразу: «Я никогда не лгал, Анна Робертовна, я не могу лгать». То, что знает о себе чистейший человек и что предпочитают иногда думать о нем другие, также совпадает не всегда.

Ольге Карлайл рассказывали в Москве, что Пастернак — человек, влюбленный в свой образ. Это еще не битые за «Доктора Живаго» и Нобелевскую премию. Это еще почти бытовое непопадание.

Когда в Переделкино приезжали за подписями литераторов против Тухачевского, Якира, Эйдемана, Пастернак закричал на приехавших на лестнице своего дома: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать... Товарищ, это не контрмарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!» Зинаида Николаевна умоляла сделать это ради будущего ребенка, которым была беременна. Он ответил ей: «Ребе-

лярно помогать деньгами Нине Табидзе, как и дочери Марины Цветаевой. Агранова из НКВД он просил за высылку из Москвы пианистку, у которой арестовали мужа: «Оставьте ее, прошу вас, в Москве, ну арестуйте меня за мою просьбу, а ее оставьте». О другом человеке написал Калинин: «Сделайте это для меня». Срок этого человека был уменьшен на 5 лет. Стало быть, можно было и не промолчать, и не согласиться?

Он не соглашался и с тем, что считалось нормальной советской литературой. Даже у хорошего писателя Казакевича, вслед за понравившимся ему началом, он увидел «обычное добродушие». Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу...

Главная его претензия к «ним», за что он не любил «их»: за штампы в мыслях и разговорах. Это может показаться малым, а между тем здесь — все.

«Я не читал, но думаю...» — о «Докторе Живаго», писательские и неписательские отречения и проклятия: заштампованное мышление, которым так легко манипулировать. Всеволод Иванов занесет в дневник слова Пастернака о том, что ему нужна ванна перед приходом к ним, настолько его обливают помоями. Зато в этом дневнике и чудесное: как плотник Смирнов целую неделю ходит будто пьяный, хотя в рот ничего не берет. «Говорят, он (Борис Леонидович) против народа. Да ведь я его десять лет знаю. Он-то и есть самая близость к народу. А те, которые его не знают, верят. Я хожу и поднимать глаза стыдно».

Его жилье кому-то напоминало жилье Льва Толстого — та же простота и целесооб-